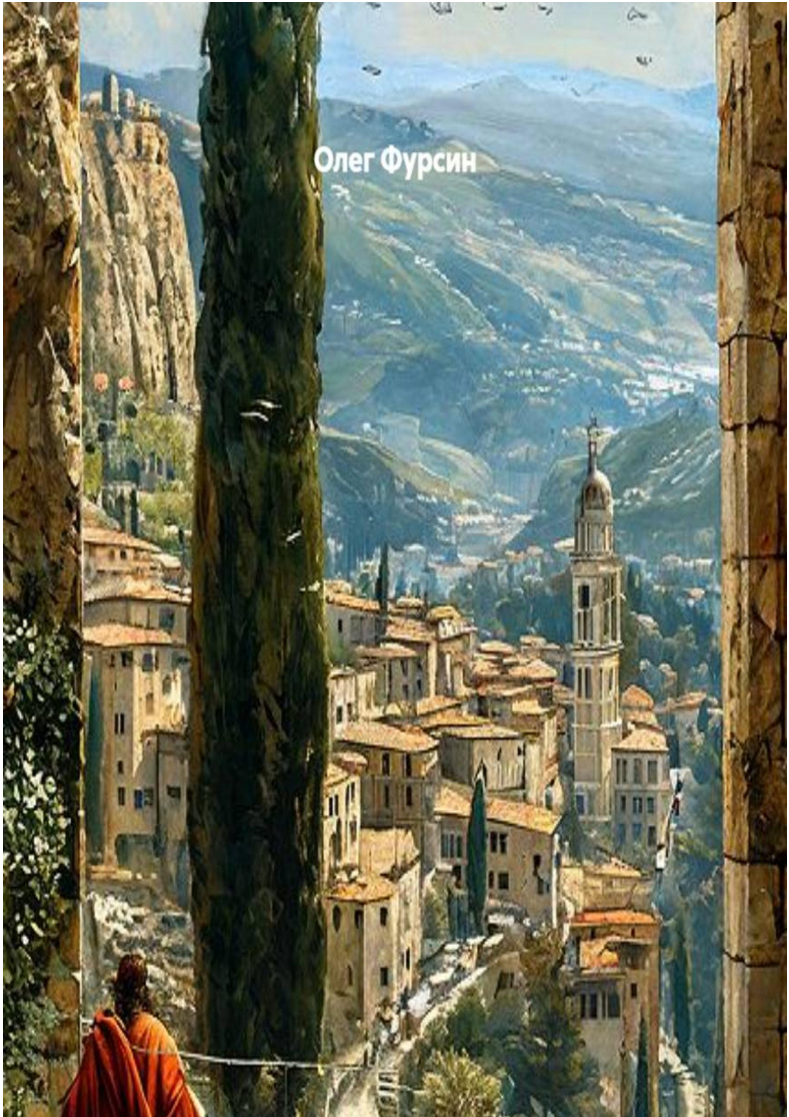
Олег Фурсин

Олег Фурсин

Понтий Пилат. Жизнь при жизни

https://litres.ru/74113381
SelfPub; 2026

Аннотация

Первая наша книга, роман "Барнаша", издавалась в 2007 году. Это первая часть трилогии, посвященной зарождению и развитию христианства как мировой религии. В ней мы пытались рассказать о земной жизни Иисуса: человека, пророка, основателя религии, к которой в последующем он почти не имел, по сути, отношения.

Представленный на Ваш суд роман "Понтий Пилат. Жизнь при жизни" - это собранные в одну книгу главу романа "Барнаша", связанные с одним из его героев. Понтий Пилат (лат. Pontius Pilatus; род. около 12 года до н. э., Апруций, Римская империя - умер после 37 года) - римский префект Иудеи с 26 по 36 год, из всаднического сословия. Корнелий Тацит называет его прокуратором Иудеи, Иосиф Флавий - правителем (игемоном) и наместником.

Вторая часть названия романа неслучайна: все вроде бы знают жизнь Пилата, которую нам описали многочисленные религиозные и иные авторы. Мы выносим на суд зрителей свою

версию жизни римского префекта. Версия на первый взгляд спорная, но...

Содержание

Глава 1. Заговор. 5
Глава 2. Друг. 17
Глава 3. Дружеские беседы. 25
Глава 4. Первое столкновение. 34
Глава 5. Пилат и священик. 43
Глава 6. Письма I. 55
Глава 7. Иродиада. 63
Конец ознакомительного фрагмента. 66

Понтий Пилат. Жизнь при жизни

Глава 1. Заговор.

Человечество чаще награждает рукоплесканиями своих губителей, нежели спасителей или благодетелей. Мысль не нова, но, кажется, справедлива. В списке наиболее известных истории людей, близких к описываемой эпохе, стоят Александр Македонский и Юлий Цезарь. Вряд ли найдутся люди в здравом уме и твердой памяти, претендующие на минимальное наличие интеллекта, кто не определил бы национальную принадлежность сих воителей, гениев насилия и жестокости. Или временные рамки их существования. Быть не может, они узнаваемы большинством, и даже почитаемы. Понтий Пилат, первосвященники Анна и Каиафа, гонители Христа – читатель, тебе знакомы эти имена, не правда ли? И Ирод Великий, и внучка его, Иродиада. А Саломея все еще танцует в твоем воображении роковой танец страсти и смерти...

Люди, собравшиеся одним зимним вечером в году 778 со дня основания Рима, в консульство Косса Корнелия Лентула и Марка Ассиния Агриппы[1], в одном из домов на окраине

Рима, оставили свой, яркий след в истории человечества. Но известны гораздо менее, в кругу любителей истории и литературы. Не считая, впрочем, Понтия Пилата.

Назвать их заговорщиками не повернулся бы язык. Они себя таковыми не считали. Представители правящей верхушки Рима, добропорядочные граждане. Заговор, как правило, складывается из многих составляющих. Наличие лица, обладающего властью, круг людей, пытающихся её ограничить. Возможно, даже устранить это самое лицо – как из власти, так и из жизни вообще. Ничего этого не было в данном случае. По крайней мере,пока.

Частный вечер для небольшой группы близких по духу людей. Что из того, что были отосланы все, кто не имел отношения к этому обществу, что хозяин дома лично проверил, пройдя по отдаленным комнатам, не остался ли кто из любопытных подслушивать их беседы? Что странного в том, что на пороге дома остался верный вольноотпущенник Ант, не раз проверенный хозяином на честность и преданность? Двое рабов, Нарцисс и Палант, стояли с факелами у задней стены дома, обращенной в сад. Третий раб, по имени Феликс, время от времени огибал дом, освещая факелом его стены, вглядываясь в каждый уступ, рассматривая окна и карнизы. Они охраняли покой гостей. А хозяин и гости стремились отдохнуть в обществе друг друга, имея на то полное право. И посторонние им были просто не нужны...

И всё же собравшиеся в доме были заговорщиками. Уж

им-то самим было известно, что каждый из них - член тайного общества, раскинувшего свои сети по территории Римской империи и подвластных ей государств. Что у каждого из них есть свои цели и задачи, но исполнять их они могут, лишь поддерживая друг друга и подчиняя своё – общему. Впрочем, этого и не следовало подчеркивать. Из юношеского возраста они выросли. И уже не нуждались в остром ощущении своей причастности к тайне, в осознании своей избранности. Хозяин дома на днях отправлялся в Иудею. Он был назначен прокуратором в беспокойную эту страну. Назначение не было большим событием, страна – великой. Рядовое назначение, и встреча близких людей, собравшихся проводить друга. Они возлежали за столом, где вино не лилось рекой, а еда, вопреки римскому обычаю, не отличалась изобилием, однако,надо признать, поражала своей изысканностью. Шел разговор, как общий, так и между соседями по столу.

Наличие лидера в любом человеческом сообществе неизбежно, тем более там, где плетутся нити заговоров. Кому-то приходится руководить потоком человеческих страстей, устремлений и поступков.

В этом избранном кругу многое казалось странным, начиная с того, что лидеров здесь было двое. И хотя это противоречит общему правилу (у претендующих на власть большая редкость доброе согласие), они, разные по происхождению, возрасту, характерам, казались равными друг другу.

Все остальные явно были на положении если не подчиненных, то, по крайней мере, второстепенных лиц в этой истории.

Вряд ли нашелся бы в Риме человек, не знавший если не в лицо, то на слух, первого из этих двух. Любимец судьбы и императора Тиберия, официальный "сотоварищ" его, то есть соправитель, Луций Элий Сеян[2]**.** Красивый мужчина лет сорока пяти, физически очень крепкий, известный в Риме дамский угодник. Человек жизнерадостной веселости, активности, внешне подобной праздности, ничего для себя не добивающийся и в силу этого получающий всё, ценящий себя меньше, чем ценят другие, внешностью и жизнью безмятежный, но с недремлющим разумом – таким преподносит его историк[3] потомству. А был ли он таким?

«Тело его было выносливо к трудам и лишениям, душа – дерзновенна"[4]. Он признавался спасителем императора, во всяком случае, Тиберий его таковым считал. Однажды, когда Тиберий пировал в естественном гроте в одном из своих поместий, произошел обвал, и камнями завалило прислуживавших рабов, участники же пиршества в страхе разбежались. Сеян, обратившись лицом к Цезарю и опираясь на колени и руки, прикрыл его от сыпавшихся камней, и в таком положении был найден подоспевшей на помощь охраной. Мог ли Тиберий, воин и полководец, более всего дороживший преданностью и мужеством в людях и не находивший их в кругу близких и родных, не оценить такой посту-

пок? И он оценил. Помня о проявленной Сеяном самоотверженности, император вознес его на недостижимую для прочих высоту. Он забыл о том, что Сеян был всего лишь сыном Луция Сейуса Страбона, римского всадника из этрусского города Вольсинии. Он видел в нем сына префекта претория[5] в Риме, а потом и префекта Египта Луция Сейуса Страбона. Он видел в нем потомка знатного рода Коскониев по женской линии, и помнил о Марке Косконии, наместнике Македонии. Словом, он видел в друге лишь того, кого хотел видеть, и считал его своим преемником. Он верил в его способности и деловые качества, он его любил...

Впрочем, злые языки утверждали, что обвал в гроте – драма неслучайная, а уж обвал, избирательно убивающий лишь рабов – тем более. Говорят, один из сенаторов громко и вслух сокрушался, что столь благодатная идея посетила не того, кого следовало, он и сам-де любитель фокусов, да вот не догадался, не сообразил... Оставим это утверждение на совести сенатора, им, сенаторам, виднее, как это бывает. Стоит прислушаться к беседе двух героев повествования, с которых, собственно, и начиналось всё в этой истории.

– Мой умный молодой друг, я не дождался от тебя обещанного труда. Ты занимался логическими построениями, наблюдая за игрой в кости. И даже нашел некоторые закономерности, которые интересны были бы всем, кто хоть раз играл в эти игры с Фортуной. Зная тебя, не сомневаюсь, что ты действительно набрёл на что-то невероятное. Но ты столь

скромен, что стесняешься в этом признаться. Или дело в другом? Как ни грустно предположить такое, но люди есть люди, и ты не исключение. Сделал открытие и боишься зависти с моей стороны. Право же, это нехорошо. Мне хватает собственных богатств.

– Луций, все это – лишь досужие разговоры, и право же, они не к лицу нам с тобой. Никаких способов обрести богатство, я, конечно, не находил, да и не искал, ты же меня знаешь. Я лишь исследовал наиболее часто встречающиеся вероятные совпадения, и кое-что действительно открыл. Но нет в этом городе людей, способных оценить мои исследования. Пожалуй, ты один догадываешься, что это – серьезный труд. Впрочем, последнее меня не огорчает. Рукопись хранится в надежном месте, и я всегда готов поделиться с тобой своими наблюдениями.

– Ты слишком скромен, друг мой. Почему бы не сохранить для потомков этот труд? Я бы мог помочь с решением всех проблем, тем более денежных...

– Это было бы очень неразумным поступком, на который ты, конечно, не способен. Луций, мне давно приходится притворяться глупее, чем я есть, иначе я не выжил бы. Разве судьба моего брата не свидетельство тому? Кто же не знает, что, великий в своих деяниях, он заслужил за них лишь чашу с ядом?

– Что касается брата, я не стану опровергать эти вымыслы об отравлении, хотя доказательств ни за, ни против, веских

доказательств, я имею в виду, сам не нашел. Он был молод и здоров, и смерть была странной, согласен. Но он жил, он творил нечто в своей жизни. Остался в нашей памяти, более того, вошел в историю, это несомненно. А ты? При твоих возможностях, с твоим происхождением, с такими талантами, – и ничего не хотеть? Нет, это не укладывается в моем воображении.

– Не лукавь, Луций. Ты ведь прекрасно понимаешь, что хочу я многого, очень многого. Даже большего, нежели хотел брат. Но я не столь большой любитель риска, как ты или он Ты счастливый человек, право, а я осторожничаю всю жизнь. И часто ненавижу себя за это. Когда-нибудь всё изменится. Ради этого мы и собрались тут... Я не успел спросить тебя, что там, вернее, кого ты нашел нам в Египте. Как это удачно, что связи покойного твоего отца, бывшего наместником в этой стране, могут помочь.

– Собственно, повезло не только в этом. Ты знаешь, нынешняя Александрия – город удивительный. Я сказал бы, что это некое горнило мистической жизни. Меня всегда интересовала философия, это свойственно богатым людям, особенно выбившимся из низкой среды. Да-да, можешь не улыбаться, я говорю это не потому, что пытаюсь унизить себя. Всадническое сословие[6] не самое худшее из всех. Однако, когда по праву рождения, как ты, например, принадлежишь к высшей знати, к своему особому положению привыкаешь с детства, и потом по большей части оно тебя уже не удив-

ляет. Мне же приходилось всего добиваться самостоятельно, и я не раз задумывался о причинах, поднимающих тебя над остальной толпой, о самой сущности власти, о ее роли и прочих подобных предметах, а это, согласись, вопросы философии. Но я теперь о другом. Александрия – город самых разнообразных доктрин, город последователей многих религий, и они сталкиваются в нескончаемой круговерти идей и мнений. Там собрались учителя самых разных верований.

– И среди них есть тот, кто нам нужен?

– Во всяком случае, его рекомендовал нам Филон[7]. Ты слышал об этом мыслителе, возможно, он гордость родного города. Филон утверждает, что в человеке, за которым послали в Фивы, сочетаются все таланты жреца и знатока существующих религий. Он – любитель древностей, при этом блестящий знаток окружающей нас действительности, а это ведь редко встречается. Он знает латынь, греческий, и главное – язык страны, которая так нас интересует, – что, впрочем, не редкость в Александрии. Конечно, чего стоит наш жрец на деле, придется выяснять на месте. Его приезд в Иудею я гарантирую, он появится там рано или поздно. Ты понимаешь, что это не завтра случится, есть определенные трудности, расстояния, например...

– Надеюсь, как жрец он выполнит свои обязанности лучше меня. Помнишь, Луций, меня тоже ввели в жреческую коллегию августалов, призванную чтить Октавиана Августа. Я не умел и шагу ступить, чтоб на меня потом не шипели

разгневанные знатоки традиций.

Оба собеседника разом улыбнулись. Им припомнилось театральное действо под названием «посвящение в жрецы», в котором они принимали участие. Один в качестве плохого актера, другой – неуместно веселящегося зрителя.

– Ну, это как раз о том, о чем мы уже сегодня говорили – о преимуществе принадлежности к избранным по рождению. Ты мало что умел, но тебя предназначили к роли жреца, и никто не спросил с тебя за невыполнение обязанностей. Что касается моего кандидата, насколько я знаю, он из низов. И уж если стал известен, значит, обладает выдающимися качествами. Прости, если я тебя обидел, я прекрасно знаю, насколько ты далек от обычных представителей нашей знати, и как прекрасно образован. Но это – скорее исключение, нежели общее правило. А жрец-то из тебя действительно никакой, так что я не совсем неправ... Но быть причастным к жречеству необходимо, и мы еще поговорим об этом позднее. У меня есть одна мысль по этому поводу, и придется тебе, наверное, преодолеть свою неприязнь к жреческой среде и обязанностям. Сейчас же лучше вернуться к общему разговору, слишком мы с тобой отвлеклись...

Они действительно отвлеклись от общего разговора, а он был небезынтересен.

Насмешки градом сыпались на Понтия Пилата. Луций Вителлий[8], сын римского всадника и управителя имений императора Октавиана Августа, Публия Вителлия из Нуцерии,

веселился больше всех. Этот молодой человек был подающим надежды представителем известного в Риме семейства, давшего уже стране не одного консула. Причиной его нападок на Понтия была собственная, всем хорошо известная, страсть ко всему восточному, загадочному и прекрасному, как он это себе представлял. Втайне он завидовал Понтию, ибо тот отправлялся в те страны, в которые так рвался сам Вителлий, назначения в которые добивался, используя свои семейные связи, – но пока безуспешно.

– Наш Понтий непременно ворвется в храм Изиды[9] прямо на коне, и в доспехах!

– Раздетым, и с личным оружием наперевес, – вторил Вителлию Луций Анней Сенека[10].

– Понтий, как большой поклонник женщин, прогонит Анубиса[11] и станет сам любить всех иудеянок подряд, и Тиберий ему не указ!

– Жрецы поддержат Понтия, поскольку все казенные деньги он отдаст им, и они, побежденные громадностью суммы, забудут об Анубисе и подчинятся Понтию!

Все эти насмешки были связаны с историей, некоторое время назад случившейся в Риме. Тогда тоже немало смеялись над наивностью героев истории, в особенности почему-то над горем обманутого мужа, ославившего невольно глупенькую жену и самого себя, а заодно выгнавшего из Рима ни в чем не повинную Богиню.

Некий знатный юноша по имени Децим Мунд страстно

влюбился в замужнюю римлянку Паулину, но не смог добиться взаимности, даже пообещав ей двести тысяч аттических драхм[12] за ночь любви. В отчаянии юноша решил умереть голодной смертью, но вольноотпущенница его отца, Ида, видя, как тот чахнет, пообещала ему, что он изведает любовных утех с Паулиной, причем ей для устройства этого достаточно лишь пятьдесят тысяч драхм. Получив деньги, и зная, как ревностно Паулина относится к культу Изиды, Ида договорилась с продажными жрецами. Те, "побежденные громадностью суммы"[13], сообщили Паулине, что сам бог Анубис воспылал к ней любовью, и зовет её в храм. Польщенная вниманием Бога и потерявшая голову от радости Паулина сообщила сию новость мужу. Тот, зная скромность своей жены, не стал ей препятствовать, предполагая, что это один из обрядов. Вечером после трапезы жрецы оставили Паулину в храме, потушили огни и заперли все двери. Спрятанный в храме Мунд вступил в обладание Паулиной, и та отдавалась ему в течение всей ночи, предполагая в нём Бога. Мало того, покинув храм и вернувшись домой, с упоением рассказывала мужу и всем остальным желающим, "как ласкал её Бог". Слышавшие это домочадцы, хоть и не верили в сошествие Бога, но не знали, что и думать, зная целомудрие и порядочность Паулины. Все сошло бы хитрецам с рук, но Мунд не выдержал и через три дня победительно рассказал Паулине о том, как взял её, назвавшись Анубисом. Дурочка Паулина, разодрав на себе одежды, бросилась к ногам

мужа, тот – к ногам императора. Тиберий же, проведя тщательное расследование, приговорил виновных жрецов и Иду к распятию на кресте, а Деция Мунда – к изгнанию.

Самое же печальное для молодых римских повес, и не только молодых: храм, в стенах которого многие из них испытывали и не такие приключения, был разрушен, а изображения Великой Богини сброшены в Тибр. Можно было позавидовать Понтию Пилату, едущему в Иудею, да еще в качестве прокуратора: храм Ашторет[14]был там к его услугам!

Глава 2. Друг.

Жена его была из рода Клавдиев[15], не самой главной и известной его ветви, но всё же – почетный брак, хорошее родство. Сказать, что он любил её страстно – было бы явным преувеличением. Она не располагала достоинствами, вызывающими страсть. Да, высокого роста, роскошные рыжие волосы, правильные черты лица. Но при этом вся какая-то невыразительная, неяркая. Чаще грустная, задумчивая, необщительная. Не было в ней женского вызова, огня, живости. В постели Прокула была послушна, но восторгов не выказывала, особого физического влечения к нему, Пилату, то ли не испытывала, то ли не умела проявить. Если что-то такое и было, то оно навсегда осталось в прошлом, относящемся к рождению двух их сыновей, теперь уже достаточно взрослых и покинувших дом. Тогда она была молода, отсутствие энтузиазма скрадывалось присутствием молодой кожи, красивого тела, да и что скрывать – его, Пилата, собственным ненасытным желанием. Он всегда был любителем женщин.

И всё же он был привязан к жене по-своему, недаром повсюду скитался с ней. И при назначении на прокураторство в Иудею настаивал на её отъезде с ним, поставил это основным условием, хоть это и не было принято в обществе. Странником и солдатом он был в этой жизни, и таким оставался все-

гда, а она умела придать его походной жизни некоторый комфорт. Она умела быть незаметной, но её присутствие ощущалось во всём. Всегда вовремя поданная еда, любимое вино, рабы на страже его сна...

С ней было удобно, но не всегда. Иногда она вызывала в нём очевидное раздражение, почти гнев. Обращенное к нему, Пилату, лицо светилось от счастья, если он позволял себе её заметить. Она летела к нему по первому зову, она готова была к любым неудобствам и лишениям. Она была умна, образована, она была тонка, но... Но ему постоянно требовались другие – яркие, блестящие, страстные в постели женщины. И невольное ощущение своей вины преследовало его, особенно в дни, когда до неё, видимо, доходили разговоры и сплетни, и он видел её особенно грустной, со слезами на глазах. Он, Понтий Пилат, повидал многое в своей жизни, он был непоколебим и спокоен, даже если приходилось посылать своих людей на смерть – это доля воина, солдата, о чём тут горевать. Но слезы жены почему-то вызывали в нем досаду, сожаление, внутренний разлад. А срывался он на ней, кричал, выходил из себя, пытаясь убедить, что она нужна ему, нужна гораздо больше, чем кто бы то ни было, а всё остальное её просто не касается. И если бы она не была такой ограниченной, ревнивой дурой, то не стояла бы сейчас такая разнесчастная перед ним, а занялась бы делом...

Ещё он любил своих собак. У него была целая свора особой, бойцовской породы. Четыре суки, три кобеля. Они бы-

ли чрезвычайно тяжелы, даже для своих значительных размеров, но при этом обладали великолепной грацией и силой. Брыли скрывали пасти крокодилов, шкуры было так много, что она свисала складками. Они дрались не только зубами, но и лапами, выпуская при этом когти.

Собаки этой породы выступали на аренах в битвах со львами, а лучших охранников нельзя было и пожелать. Стоили они Пилату баснословно дорого, да и содержать их было нелегко.

Предводителем этой великолепной стаи был Банга, любимец Пилата. Этот пластичный, с нахальным взглядом пёс был необыкновенно умён и предан хозяину. Пилат повсюду разъезжал с ним, вызывая порой неудовольствие людей брезгливых, но это мало его волновало, а порой даже забавляло. Бесстрашный пёс стоил нескольких охранников сразу. Это был прекрасный товарищ, обычно достаточно добродушный и даже весёлый. Но знали его таким только домочадцы. Стоило покинуть свой дом, он становился внимательным, насторожённым, не сводил с хозяина глаз. Благодаря врожденным качествам породы, выглядел Банга устрашающе, и неудивительно, что его боялись, слагая легенды о его силе и лютом характере. Понтий в принципе не возражал.

Прокуратор, не признаваясь в этом самому себе, был привязан к бывшему своему рабу, а ныне вольноотпущеннику Анту. Тот был рожден в дикой и снежной стране, откуда ещё юношей лет пятнадцати был вывезен греком-торговцем.

Мальчишка соблазнился рассказами о теплых странах и синих морях. Он был недурён собой, прекрасно сложён, вечно улыбался. Собственного положения своего, когда грек его продал, поместив в школу гладиаторов, не понимал. Понтий выкупил его после одного из первых боев – было в мальчике что-то такое, прокуратор затруднился бы высказать это словами. Ощущение физической свежести, чистоты, мужества, наверное. Чем-то Ант напоминал ему собственного сына, младшего из двух. Но, в отличие от собственных сыновей, которых римская система воспитания рано увела из дома, с которыми Понтий никогда толком не общался, Ант оставался с ним последние десять лет. Понтий любил смотреть, как мальчишка возится с собаками. Банга свалился к нему на руки ещё малышом, и Ант возился с ним часами, спал со щенком, кормил с рук. Наблюдать их весёлую возню было одним из удовольствий Пилата, о которых он никому бы не рассказал.

Оба – и пёс, и слуга, достигли возраста физического совершенства. В обоих чувствовалась хорошая порода. Бьющая через край сила часто приводила к схваткам. Надо было это видеть – как вначале в шутку, без злобы, они катались по полу, как всё чаще рычал Банга, вырываясь из железного кольца рук Анта, как пускал в ход зубы – слегка, всё ещё опасаясь причинить боль, – а потом и удары своей страшной лапой. Мальчишка выкрикивал что-то на своем непонятном языке, пёс заводился, всё чаще раздавалось рычание нешу-

точной злобы, укусы оставляли следы на коже Анта. Но никто здесь никого не боялся, и в какой-то момент, отскочив от мощной груди пса, Ант вкрадчиво и с долей упрека окликал собаку: "Банга!"... Всё менялось в одно мгновение, умница-пес, понимая, что зарвался, начинал подползать, всё ещё слабо рыча, на задних лапах, к слуге. И разглядев улыбку, расслышав смех, бросался лизать ему руки, смеющееся лицо...

Оба – и слуга, и пёс – относились к нему, Пилату, както одинаково. Это была любовь, конечно, но с такой долей уважения и преклонения, с такой почтительностью, словно он был Богом. По сути, таковым он для них и являлся. Да и для жены, Прокулы, кстати, тоже.

У него, Понтия, тоже был свой Бог в среде живых людей. Всё детство и короткую юность они провели с Ним в странной дружбе – с оттенком вражды. Так, ничего особенного, мальчишеское соперничество, ревность друг к другу, ко взаимным достоинствам. Слишком они были полярны во всём, и каждому находилась причина позавидовать.

Он был слишком умён для Пилата, впрочем, тоже не обделённого умом. Не столько умён, может быть а скорее излишне учён. Обнаруживал незаурядное усердие в благородных науках. Греческая и римская словесность, римская орфография и история, риторика. Даже этрусский язык и история: он был одним из немногих римлян, сохранивших в эту позднюю эпоху знание этрусского языка, считался при-

знанным знатоком древностей, этому искусству обучался у Тита Ливия[16].

Но в плане физическом природа обделила Его. Часто болел в детстве, и как следствие, был слаб телом. Он прихрамывал при ходьбе, беспокоили боли в желудке, преследовали простуды. Даже на гладиаторских играх, устроенных в память отца, сидел на трибуне в чём-то вроде чепца - palliolum. Чепец защищал уши и горло от простуды, носили его при болезни, дома, никак не на людях. Немало тогда Он выслушал насмешек от Пилата, злился, пыхтел, краснел. И отвечал эпиграммами, остриё которых было направлено на якобы общеизвестную глупость Понтия.

Пилат был устроен проще. Его тянуло к играм, гимнастическим упражнениям, позже – к сражениям, в которых он хотел, нет – мечтал принимать участие, к лошадям и собакам.

Ему же это было чуждо, как греческая словесность – Пилату. При попытке затеять даже небольшую драку, просто весёлую потасовку, Он всегда и неизменно терпел поражение. Хотя добросовестно отбивался, пытался даже укусить Пилата или лягнуть его побольнее.

Их дружба с годами приобретала несколько иной характер: покровительственный со стороны Него и подчиненный со стороны Пилата, к тому времени уже прекрасно понимавшего, что ни по положению, ни по уму он не может претендовать на лидерство.

Странным образом они сблизились в период созревания. Это время, мучительное для всех мальчиков без исключения, время появления осознанных желаний, влечения к женщине, для них протекало тем более непросто. Эпоха не сочувствовала целомудрию и скромности. Даже о Божественном Юлии говорили вслух, подвергая имя его поношению, что он сожительствовал с Никомедом[17], царем Вифинии. Повторяли всем известные строчки Лициния Кальва[18]:

"и всё остальное,

Чем у вифинцев владел Цезарев задний дружок".

Распевали насмешливые песни о том, что

"Галлов Цезарь покоряет, Никомед же – Цезаря".

В правление же Тиберия, немалыми стараниями последнего, низменная праздность достигла своего расцвета. В распоряжении Тиберия были двенадцать вилл, где он завёл особые постельные комнаты, гнёзда потаённого разврата. Собранные толпами отовсюду мальчики и девочки наперебой совокуплялись перед ним по трое, возбуждая похоть цезаря. Спальни, расположенные тут и там, он украшал картинами и статуями самого непристойного свойства, разложил в них книги, где приводились комментарии происходящего. Даже в лесах и рощах он повсюду устроил Венерины местечки, где в гротах и между скал молодые люди обоего пола открыто, перед всеми, изображали фавнов и нимф. Он завел также мальчиков самого нежного возраста, которых называл своими "рыбками", и с которыми забавлялся в постели.

Нашлись лизоблюды, которые с удовольствием перенимали манеру поведения властителя. В среде, где Понтий и Он существовали, таких примеров было немало. Во все времена существовало тяготение молодых к запрещённому, греховному, тайному. И сверстники Понтия не стали исключением. Молодые однополые любовники были окружены интересом толпы, о них судачили, они ощущали себя на гребне волны. Понтий и Он были не последними в своей среде, и их взаимная привязанность бросалась в глаза. Однако любовниками они не стали, и ни разу даже тайного трепета не пробегало между ними. Не тянуло их к подобного рода развлечениям, несмотря на существующее вокруг поветрие, порой приобретавшее силу ветра, даже урагана. Впоследствии это стало ещё одним краеугольным камнем их дружбы, словно стало одной причиной больше уважать друг друга. Так оно и было, наверное. Ведь избежать в молодости падения, которое считается чуть ли не добродетелью в твоей среде – это уже поступок. У них впереди было немало подобных поступков, после которых Он окончательно утвердился в сознании Понтия Пилата его личным Богом, а сам Понтий стал служить Ему.

Глава 3. Дружеские беседы.

Хитросплетения судьбы – загадка, волнующая каждого отдельного человека. И загадка для всего человечества в целом. Совпадения или несовпадения, случайные встречи, обретения или потери. То пронесет мимо смерти, то столкнет с бедой и гибелью на самом пороге ожидаемого счастья. И нет ответа на тысячи тысяч «почему?», задаваемых на всех перекрестках земли.

Где-то, когда-то, на краю изученной земли один человек, спасенный от смерти другим, сделал подарок спасителю. Кусок редкого камня со странным сочетанием цветов. И началось – череда смертей, потрясших до основания полмира. Потом череда случайностей, оберегавших членов отдельной семьи. И теперь, через три века, это начиналось снова. Ожидались смерти, и гибельные совпадения, и чудесные избавления. Почему? Есть множество и других вопросов. В зависимости от склада ума. Кто-то спросит – почему именно через три века? Или, допустим, что за сила была дана тому камню, каков её источник? Связано ли это с цветами камня, или с веществом его, или только со странной силой, что был наделен индийский Учитель? А чем же он наделен, что это? И где этому можно научиться, или где это можно взять... Вопросов может быть множество, но только на большую часть из них нет ответов. Можно попытаться рассказать – как это

было. Как начинался заговор, изменивший лицо мира, подаривший миру христианство...

– Впрочем, Понтий, не стоит думать, что тебя ждут в Иудее с радостью и удовольствием, – внёс серьезную ноту в общий разговор Луций Сенека, всё ещё улыбаясь предшествующей шутке, но словно вдруг трезвея. Этот молодой мужчина, лет тридцати, был известен своими изысканиями в философии и успехами в политике. Во многом благодаря своему отцу, известному ритору Сенеке Старшему, он увлекся ими ещё в юности.

– Какое мне до этого дело? – возразил ему прокуратор. Я собираюсь управлять ими, а не они мной. Что мне до их чувств? Пусть покоряются Риму, во и всё их удовольствие.

– Ты не знаешь их обычаев, префект, и хочешь управлять лишь своим веским словом или бряцанием оружия? Ты знаешь, что эти побежденные, а на их веку победителей было немало, навязывают свой закон победителям, действуя хитростью, держась друг за друга? Это для нас из Греции в мир пришли красота, поэзия, искусство, из Рима пришла законность с правом человека на беспристрастный открытый суд... Иудеи считают, что всё это – отвратительные по содержанию проявления язычества, грубой силы, неразумной и глупой. Для них существует лишь их собственная история, лишь их единственный Бог, который избрал их из всего человечества, и который интересуется лишь ими

– Я заинтересую его Римом, всерьез и надолго, уверяю

вас, всех присутствующих!

Никто, собственно, и не сомневался. Он был подлинным солдатом Рима, Понтий Пилат, нынешний прокуратор Иудеи. Лицо его выражало решимость, руки крепко сжаты, глаза грозно блестели и не обещали иудеям ничего хорошего.

Два человека напряглись внутренне, понимая, что Понтий прав, но должен быть предостережён и несколько осажен – для своей, а главное – для общей пользы. Один был тот, перед кем преклонялся Понтий, тот, кого Сеян называл "молодым другом". Он с огорчением вздохнул, ещё раз пожалев об отсутствии в Понтии Пилате даже намека на дипломатию, когда задевались истинные Понтия интересы – а это, вне всякого сомнения, были интересы боготворимого прокуратором Рима. С другой стороны, неудержимая энергия Пилата и его опыт не должны пропасть даром, и будут бесценны в Иудее. И, может быть, послужат лучшим противовесом хитростям и недомолвкам, и всей этой иудейской премудрости, в которой он явно не силён... Да, следует направлять Понтия, но не надо надевать на него узду, во всяком случае, сейчас, перед самым началом – он должен справиться. И Он промолчал.

Луций же Анней Сенека бросился в бой. Для него, Сенеки, в отличие от Понтия Пилата, отечеством был не только Рим. Он считал себя Человеком, и значит, – гражданином всего существующего мира. Великое государство,

не ограничиваемое определённым пространством, поистине "res publica"[19] – вот что волновало его. Сенека возвысился над предрассудками относительно не римлян, и хотел, чтобы этот шаг сделали и другие...

– Ты не прав, воитель, – обратился Луций к Понтию. Конечно, защищая государственные интересы, не сохранишь руки чистыми. Но единовластие должно быть ограниченным и упорядоченным, а правитель – разумен и милосерден, и обязан заботиться о подданных... Пусть это всего лишь иудеи, но и они – люди! И подданные Рима!

Завязался всеобщий спор, и в нём приняли участие не только уже перечисленные лица. Следует упомянуть, что на встрече в доме Понтия Пилата были ещё седовласый Марк Эмилий Лепид[20], и отпрыск знаменитой фамилии Крассов – Марк Лициний[21].

Все эти вопросы были важны для них, тема разговоров – животрепещуща. Кто-то из них лишь обозначал своё присутствие в римской истории, кто-то уже стал страницей её. Это была их жизнь, их страна, их власть. Могли ли они быть равнодушными, когда разговор касался Рима? Впрочем, не этот спор, а завершение разговора Луция Элия Сеяна со своим прежним оппонентом, представляет истинный интерес. Дав возможность друзьям попрактиковаться в риторском искусстве, "молодой друг" Луция вновь обернулся к нему, и продолжил прерванный ранее разговор.

– Луций, ты сегодня слегка приоткрыл мне завесу над

своими тайнами, рассказав о пристрастии к философии и о трудностях выходцев с низов. Я прошу тебя о большей откровенности. Не в первый раз пытаюсь понять нечто о тебе, но до сих пор не получил ответа. Ты молчишь, а мне надо представлять себе, чего хотят от меня мои соратники в будущем. Быть может, большего, чем я захочу или смогу им дать?

Молодой человек, с которым беседовал Элий Сеян, и чье имя ещё ни разу не было произнесено вслух, задумался на несколько мгновений. Элий ждал, не прерывая его размышлений. В глазах любимца Тиберия, обращенных к собеседнику, светилось любопытство, а ещё – действительное уважение к тому, кто был представителем римской знати, но таким необычным представителем.

– Мне тоже приходилось философствовать, Луций. Ты же знаешь, история – моя страсть, а эти две дисциплины – родные сестры. И немало приходилось мне задумываться о власти и её странностях. Вот ты – человек, который всего в жизни добился сам... У тебя есть всё – и власть, и богатство, а кроме того, Боги даровали тебе здоровье, которого нет у меня, несмотря на знатность, и даже красоту. Тебя любят женщины, и не просто любят, а многие бесстыдно бегают за тобой... На мой взгляд, тебе уже незачем чего бы то ни было хотеть. Что же привело тебя к нам, тем, кто так многого ещё хочет? И чего хотел ты, став членом нашего Общества?

Пришел черед задуматься Сеяну. Есть вопросы, на которые не то чтобы трудно ответить. Всегда можно что-то со-

врать и вывернуться, или сделать вид, что не услышал, в конце концов. А вот ответить по-настоящему, сказать правду – означает вывернуть наизнанку собственную душу. Это нелегко само по себе, да и вызывает раздражение по отношению к тому, кто задал вопрос – с какой стати он пытается выведать у тебя нечто сокровенное, только тебе принадлежащее? Велико же было уважение Сеяна к своему собеседнику, когда на столь откровенный вопрос он постарался ответить честно и всеобъемлюще, как только сумел. Это чувствовалось по тону Сеяна, по его дрогнувшему голосу.

– Мой умный друг, я сам неоднократно спрашивал себя об этом. Ты вспоминал сегодня о брате. Помнишь, как корчилась твоя душа от боли, когда пришло известие о его смерти? Помнишь, как ты не мог сдержаться от слёз, как громко кричал, посылая проклятия предполагаемому убийце, как тебя не могли удержать в твоей комнате, и ты рвался на улицу, чтобы бежать, и кричать, призывая к отмщению... Нет, я не потому об этом говорю, что хочу разогреть твою ненависть или растравить раны, прости меня. Я хорошо помню тот день, и нашу встречу, и твое желание продолжить дело, начатое братом; тогда я услышал в ответ на мое предложение решительное «да!».

Рука Сеяна легла на лоб, снимая напряжение, слегка дрожащие пальцы прошлись по надбровью, прижали веки и опустились на подбородок. Волнуясь, он продолжил:

– Но ты вспомни своё горе. Вот такое же по силе чувство

я испытываю, когда понимаю, как непрочна моя власть. Я – временщик, и знаю об этом. А ведь я не один на свете. У меня есть дети, моя плоть, моя надежда на бессмертие. Если я паду, что ждёт их на этом свете... прозябание в безвестности? А может, смерть от рук моих врагов? Я же хочу даровать им истинную власть, ту, что есть у тебя, даже если её пока нет, власть, которая от Бога, и уже не отнимется у них. Однажды я попытался войти в ваш круг Хотя бы дочь, хотя бы она могла обрести иной кров, чем мой? Где все так зыбко, неустойчиво! Но твой Друз, твой сын погиб – нелепо, глупо, едва обручившись с ней Подавился грушей, это немыслимо себе представить! Словно оно, еще ничего не значившее само по себе обручение, стало проклятием его юной жизни! Разве это не знак?

Взгляд собеседника, исполненный боли и запрета на продолжение, не остановил Сеяна. Он говорил, сцепив накрепко руки, выдававшие волнение.

–Я хочу, наперекор своей судьбе, ввести детей в круг людей, которые причастны к власти от рождения. Навсегда, для всех последующих поколений моих потомков, через времена. Ты считаешь это невозможным?

Ответ он получил не сразу. "Молодой друг", которому, однако, на взгляд было более тридцати, имя которого так и осталось в тайне, помолчал немного. Увидеть выражение лица его Элий Сеян не мог, ибо оно было опущено долу. Когда же он поднял голову, Сеян заглянул в его горящие сочув-

ствием и пониманием глаза, почувствовал тепло, исходящее от него, и уже знал, какой ответ получит. И всё же услышать эти слова было приятно. Благородство его собеседника проявилось в ответе, а Сеяну не так уж часто в жизни приходилось встречаться с благородством, не говоря уж о том, что редко приходилось проявлять его самому. Не баловала его жизнь встречами с благородством.

– Нет, почему же, такое случалось и раньше. Если я дам тебе согласие, Луций, это ведь будет не просто моим согласием, правда? Это ведь будет моей клятвой – клятвой будущего властителя своему преданному слуге, что он получит обещанное по достижении мной власти?

– Да, друг мой. И я хотел бы услышать эту клятву от тебя, чтобы вздохнуть наконец спокойно, ведь тебе я верю безоговорочно. Слишком часто в последнее время я вижу один сон – сон о моем неминуемом конце, и он будет страшен..

.– Что ж, я нахожу твою просьбу справедливой и цену, которой заплачу за твоё содействие нам – совсем небольшой. Клянусь памятью моего брата, и да услышит мою клятву Юпитер – я позабочусь о твоих детях.

Благодарю тебя, и никогда не забуду твоего великодушия ...

– Есть, правда, одна просьба и к тебе, Луций, раз уж речь зашла о наших родственниках. Мои племянники, ты ведь не любишь их...

– А ты? Вздорные молодые люди, не ладящие ни друг с

другом, ни с кем бы то ни было вокруг! Мечтающие о власти, подумай об этом! И их неуёмная мать, которая добьётся своего, и погубит детей собственными выходками!

– Луций, ты прав. Я не люблю своих родных, и это горько. Да ведь никто из них не любит меня тоже... Я прошу тебя лишь об одном – в память о брате, обещай мне не участвовать в падении и гибели племянников, которое я также предчувствую, как и ты. Я не смогу участвовать в нашем общем деле, не смогу встречаться и говорить с тобой, зная, что ты виновен в их смерти. Есть предел любому цинизму, пойми

!– Вблизи власти такого предела нет! Впрочем, пусть будет так. Твоим родственникам моя помощь не понадобится. Они всё сделают сами, а недоверчивость Тиберия и его нелюбовь довершат начатое. А теперь прощай, и побереги себя самого. К тебе ведь всё это тоже относится в какой-то мере...

Уход Сеяна послужил сигналом расходиться. Разгоряченные спорами, всё ещё ищущие неопровержимых доводов соратники, дружеские похлопывания про плечу, слова ободрения – всё это потом не раз вспоминалось Понтию Пилату в далёкой и не всегда ласковой к нему стране...

Глава 4. Первое столкновение.

Понтий Пилат, прокуратор[22] провинций Иудея, Самария и Идумея, собирался из Кесарии Приморской[23] в Иерусалим, на зимовку, в первый раз после прибытия в эту далёкую и не очень приветливую страну. Впоследствии каждый год он был вынужден несколько раз посещать столицу Иудеи, во время любого значимого иудейского религиозного праздника. В столице в дни праздников скапливалось большое количество паломников. Была вероятность волнений, выступлений, и даже мятежей зилотов. Прокуратор, как опытный солдат, уставший от войны и крови, всегда стремился предвосхитить события, подавить в зародыше будущее кровопролитие. Но обстоятельства иногда были сильнее Пилата. И кровь проливалась...

То не был год войны, то был год мира в стране и вблизи её пределов. Это означало, что Пилат имел в своем распоряжении лишь вспомогательные войска. Римские легионы находились в Сирии, под командованием имперского легата[24]. Пусть по вооружению, обучению, дисциплине вспомогательные войска были истинно римскими, но auxilia[25] состояла из племён, находившихся в союзных или договорных отношениях с Римом. И когда под утро посланная до приезда самого префекта когорта вступила в Иерусалим....

Эти жестокие, грубые лица наёмников, готовых на всё

просто потому, что они – наёмники, и им всё равно, кого убивать. Эти светлые глаза, с какой-то издевательской радостью рассматривающие фигуры полуодетых, высыпавших на улицы и перепуганных насмерть жителей. Этот грохот барабанов, бряцание оружия, топот пехотинцев. Ржанье лошадей, цоканье копыт, поскольку пехоту сопровождала конница, во время сражений охранявшая фланги легиона. Кавалерийский отряд блистал убранством лошадей, а сами всадники – позолоченными щитами с изображением императора. Со щитов взирал на жалкий, трепещущий народ Иерусалима сам император Тиберий во всём своём блеске и величии. Позже щитами украсили стены дворца Ирода.

Мог ли Ханан простить префекту даже не святотатство, это было важно, но вторично, а свой предутренний страх, нет, не страх – ужас? Разбуженный растерянными левитами, он бежал через город ко двору Храма в ночном одеянии. Бежал, не понимая, какая новая беда, новый враг осадили город, и надо ли прятаться в стенах Храма, или уже и они не спасут, не уберегут от непонятной опасности? Он скоро разобрался в происходящем, и перестал вести себя как курица, когда она хлопает крыльями и клохчет с перепуга. Зато довольно долго потом ловил на себе насмешливые взгляды левитов и священников. Нельзя сказать, что они вели себя более храбро, нет! Но, позабыв о собственном страхе, они с удовольствием припоминали своего повелителя – с перекошенным от ужаса лицом, дрожащими губами, его сбивчивую

речь, не находящие себе покоя руки. И немало удовольствия доставляли им эти воспоминания! Вот этого Ханан не смог простить префекту никогда... Он взял себя в руки достаточно быстро, поскольку всегда был человеком волевым, сильным. И ответного хода не пришлось долго ждать...

Подстрекаемая им толпа набожных иудеев прибыла в Кесарию через два дня. Они боялись, и трепетали, но шли мимо домов из белого мрамора к холму, где Ирод построил храм в честь Юлия Цезаря. Было отчего трепетать. Procurator provinciaeJudaeae[26] мог казнить виновных и даже невиновных в пределах своих владений. И когда он вышел к ним, и они заглянули в его хмурое, недоброе лицо, крики ужаса раздались среди них.

Выступил тогда из толпы один из них, Симон. Он был уважаем народом Иерусалима за принадлежность к фарисейству, но истинного толка. Симон был фарисеем боголюбивым[27]. Так называл их Талмуд, отделяя от других фарисеев – оцарапанных, спотыкающихся, подсчитывающих – словом, тех, кто в своё поклонение Господу вносил немалую долю игры, лицемерил. Такие, как Симон, действительно и подлинно любили Бога, и находили наслаждение в повиновении Закону Божьему, с какими бы трудностями это ни было связано. Он не отгородился от мира за стенами Торы. Ни награды, ни кары не ждал он себе в этой жизни по своим поступкам, руководствуясь лишь любовью к Богу. Быть может, он был единственным из всей толпы, кто пришел сюда по ве-

лению сердца, зная лишь страх Божий, а не указания Ханана.

– Префект, – сказал он спокойно и строго, не упадая ниц, не кланяясь Риму в лице прокуратора. – Те, кто были в Йрушалайиме[28]до тебя, уважали святость города единого Бога. Мы – подданные римского кесаря, но и он не может быть выше Бога. Перед вступлением в Священный город все изображения должны быть удалены. Таков наш древний закон. Мы просим тебя уважить его, и потому пришли в Кесарию. Мы не хотим, как мог бы ты подумать, беспорядков. Здесь, со мною, лишь уважаемые люди города. Те, чьи лица обращены к Богу, а через него – к тем, кого наделил Он властью.

– Такого закона нет в моей стране, иудей, – недобро улыбаясь, ответил ему Пилат. Я уважаю законы, ибо я римлянин не только по прозванию, но и душой. Но этот закон – не есть закон моей страны. А я здесь – в моей стране, или ты думаешь по-другому? Если так – ты достоин смерти, и ты будешь оценён мной по достоинству!

– Смерти я не боюсь, префект, особенно праведной, во имя моего Господа. Если я пришел сюда за нею, так тому и быть. Но ни я, ни те, кто со мною, не уйдут отсюда до тех пор, пока не унесут из Йрушалайима щитов. Мы останемся здесь, и будем взывать к твоей совести. Быть может, ты услышишь голос Господа. И отошлешь нас с миром, дав то, что нам принадлежит по праву – мир с нашим Богом. Под которым мы должны ходить без греха...

Пожав плечами, префект покинул площадь перед языче-

ским храмом. Он не соизволил дать ответа Симону, всем своим видом показав, что эти глупости его больше не интересуют, он выше подобных вещей. Однако остаться выше всего этого ему не позволили. Толпа, возглавляемая теперь Симоном, поскольку невольно ощущала в нём силу, не данную ей самой, расселась на площади перед храмом. И началось... Псалмы сменяли друг друга, как сменяют друг друга накатывающие на берег морские волны. Они перемежались жалобными воплями, призывами к Богу. Затем раздавались громкие, вдохновенные молитвы. Молитвы с просьбами защитить святыни и народ. И снова распевались псалмы... С ума можно было сойти от этого театра, от разыгрываемого здесь, на площади, представления.

К слову сказать, резиденция римских прокураторов была не так уж велика. Когда римляне завоевали Палестину, Кесария ещё именовалась Стратоновой башней. Помпей[29] объявил её независимым городом и включил в состав Римской империи. Но Юлий Цезарь отдал Стратонову башню Ироду, бывшему к тому времени царем Иудеи. А Ирод отстроил городок, на холме же построил храм в честь Цезаря. Построил, кстати, театр в городе, равно как и амфитеатр за городом у южной оконечности гавани, так что развлечений здесь хватало. И без толпы сумасшедших поклонников единого Бога, оглашавших окрестности городка своими воплями. А вопли эти были замечательно слышны во дворце Ирода, где обитал Пилат. И страшно раздражали его, не говоря уже о его до-

машних. Прокула ходила с перевязанной головой, глаза её сделались несчастными и больными. Столкнувшись с ней во время обеда, Пилат потерял аппетит. Она смотрела на него умоляюще, просительно и жалобно, не смея говорить. Где-то во дворе выли собаки. Им эти вопли, песнопения и крики не нравились тоже.

К вечеру Понтий был уже на грани срыва. Иудеи мешали ему жить, они вознамерились отравить ему существование в самом начале его пребывания на посту. Обещанные друзьями и покровителями во время последней встречи в Риме неприятности начались сразу, по прибытии. Он ещё ничего толком и не начинал, а иудеи уже противились самому простому его действию. Что из того, что его когорта прибыла в Иерусалим так, как ей полагалось – весело, шумно, с орлами, щитами? Почему это должно было стать им поперек горла? И почему они хотели вынудить его принять нужное им решение? Его, воина, солдата, римлянина – вынудить!

Ни в чём не повинный Банга дал толчок к тому, что случилось потом. Ханан не мог этого знать. Но именно так и случилось. Воспитанный пёс долго сохранял относительное спокойствие, поскольку получил приказ хозяина. Но даже его терпению пришел конец, когда какой-то из иудеев издал совершенно нечеловеческий вопль. Шерсть на загривке пса приподнялась, он ощетинился, зарычал. Пилат, укрывшийся со своим любимцем в одном из дальних уголков дворца, где звуки с улицы были менее слышны, оглянулся.

– Что, мальчик, и ты уже с трудом это терпишь? И тебя они довели?

Банга нервно вздохнул, а потом даже гавкнул несколько раз от волнения, что с ним случалось редко. Со двора в ответ предводителю разразились лаем кобельки, присоединились к общему шуму и суки. Встревоженные лошади в конюшнях ответили громким ржанием...

Пилат раздраженно стучал кулаком по стене. В комнату вбежал Ант.

– Почему никто не взял на себя труд разогнать этих сумасшедших? Почему я должен терпеть этот театр под окнами, – кричал Понтий, распаляя себя собственным криком. – Нет ни минуты покоя в доме, ни мне, ни моим домашним, ни даже животным, а трибун[30] бездействует!

– Нужен приказ, никто из кентурионов не станет проливать кровь без приказа, – спокойно отвечал вольноотпущенник, который не боялся ни криков Пилата, ни самого Пилата, поскольку очень его любил. – Трибун – тем более, он старый уже... И умный поэтому!

– Они дождутся той поры, когда придётся пролить реки этой самой крови! Безнаказанность позволила иудеям распевать псалмы под моими окнами, а если ждать дальше, они войдут сюда без приглашения и рассядутся здесь хозяевами, – ворчал Пилат, но уже тоном пониже.

– Вот что, парень, – поразмыслив некоторое время, сказал префект. – Лети к трибуну. Скажешь ему, пусть вооружит

человек пятьдесят покрепче палками. Пусть разгонят толпу, да поскорей. Не надо множить смертей, но пусть крикуны увидят нашу готовность к их смерти. Иначе они не поверят в то, что я – прокуратор. Придется доказывать это палками, и они не оставили мне выбора, нет, не оставили!

Анту не надо было приказывать дважды. И через некоторое время на площади разразилось побоище, то самое побоище, что потом не раз снилось Ханану. Он не видел его воочию, но ему рассказали, и это стало кошмаром его ночей. Не потому, что его, первосвященника, мучила совесть. Он слишком хорошо знал, что служение Богу всегда требует жертв, в том числе человеческих. А потому, что это стало грозным предупреждением ему самому – не вставать на пути у этого одержимого бесами, легионом бесов, язычника. А он вставал, потому что иначе не мог, но при этом боялся, ох как боялся!

Когда на площади появились солдаты, это стало знаком. Человеческое стадо повскакало на ноги, напряглось, приготовилось – не к бою, нет, но к бегству. Симон задержал их ненадолго своим порывом.

– Остановитесь! – кричал он им. – Остановитесь, не удаляйтесь от Бога!

И сам пошёл навстречу солдатам. Кто знает, почему он кричал именно эти слова, чем они стали созвучны его душе в смертный час?

– Правда праведного при нём и останется, а беззаконие

беззаконного при нём. И беззаконник, если отвратится от всех грехов своих, какие делал, и будет соблюдать уставы мои, и поступать законно, и праведно жить – не умрёт... Разве Я хочу смерти грешника, – говорит Господь Бог, – а не того, чтобы он обратился и был жив?

Так, повторяя слова Иезекиля[31], шёл навстречу смерти своей Симон-фарисей.

Он был светел лицом, и даже стал повыше ростом. Во всяком случае, солдат кентурии, что занёс над ним палку, не казался выше него, Симона. Палка опустилась на голову его, и он упал, заливаясь кровью.

Жаль, что во все времена, всегда и везде, наиболее достойные, чистые и праведные люди становятся жертвами самых жестоких и низменных противостояний.

А дальше Дальше избиваемые палками люди, задыхаясь, бежали от площади вниз, к гавани, преследуемые солдатами. И их били, калечили, топтали...

Желающих принять участие в охоте оказалось даже больше, чем просил Пилат. И скучающий от безделья в жаркой стране трибун не отказал им в веселье. Таков инстинкт толпы, и ему повинуются люди...

Глава 5. Пилат и священик.

Понтий Пилат не любил пребывание в претории Иерусалима. Просторные галереи, богато обставленные залы для приёмов, дорогая утварь, сохранившаяся со времен Ирода Великого – разве может быть воину уютно в доме, обставленном с царской роскошью? Не очень-то приятно ощущать себя, чуждого расточительности и лени, забравшимся в покои господина слугой. Он знал, что слуга-то как раз вовсе не он, он здесь завоеватель, и он господин, которому кланяются прежние хозяева. Но не умел избавиться от неприятного чувства собственного несоответствия этим стенам. За что и не любил их. Впрочем, он многого не любил в этой стране.

Зато Ханан или Каиафа зеленели от злости, вынужденные в дни вне их священных обрядов, когда вход в дом язычника считался уж самым большим осквернением, прибывать в преторию для переговоров. Он, Пилат, настаивал на этом. Что ему до того, что они ненавидели прежнего хозяина дворца – Ирода Великого? Что из того, что ненавидят Рим? Интересы иерархии и Рима ныне одни. Хотят быть первосвященниками, заседать в своём ничего не решающем Синедрионе – пусть кланяются Риму в его, Понтия Пилата, лице. Если бы вдруг из Иерусалима, что невозможно, исчез последний римлянин, сохранили бы нынешние архиереи свою власть? Скорее всего, нет. Они – ставленники Иродов, с благосло-

вения Рима имеющие власть над своим умолкнувшим народом. Вот пусть и не смеют кусать руку, кормящую их.

А они норовили укусить. Вот и теперь, сегодня, не на шутку разозлённый последними событиями Ханан, начал разговор с упреков и обвинений. Речь шла об Иисусе Галилеянине, о его предпасхальном приходе в Храм с учениками, и разразившемся там скандале. Не было сомнений – не простер бы Рим руку над головой этого человека, – не сносить бы ему этой головы после всего случившегося.

– Мы пошли навстречу Риму в столь важном для себя вопросе, что, боюсь, превысили собственные возможности. Не приходится даже сомневаться в том, что разрешив этому лжепророку,Йэшуа из Галиля, проповедовать чуть ли не в самом Храме, мы нанесли урон себе и нашей религии.

– В чём заключается урон, могу я спросить у достопочтенного первосвященника? Насколько я знаю, Иисус проповедует повсюду лишь о мире, о добре и любви. Стоит ли провозвестника подобных представлений считать опасным?

– О каком мире проповедует Йэшуа, а вместе с ним и уважаемый прокуратор?

Голос Ханана был исполнен язвительности и удушающей злобы.

– Покой Храма нарушен! Он учинил разгром на Дворе язычников, разогнал стада жертвенных животных, разбросал монеты на радость нечистым на руку людям! Если это называется стремлением к миру, я предпочел бы войну! Не

счесть жалоб, что выслушал я от уважаемых и весомых граждан города по поводу Йэшуа... И это – накануне пэсаха! Он осквернил наш Храм, и если бы не заступничество Рима, я отдал бы его в руки Санхедрина, и уверяю, недолго после этого Йэшуа оставался бы в Йрушалаиме!

– Нисколько не сомневаюсь, нисколько, и боюсь, не только в Иерусалиме... Расправа Синедриона не заставляет себя ждать, отдай только несчастного им в руки. Хорошо, что в смертной казни члены Синедриона не вольны, это всегда остается за Римом. Иначе я был бы свидетелем множества казней по глупейшим причинам, а я не сторонник бессмысленных смертей. Зло должно быть наказано, безусловно, и строго наказано, но что есть зло или истина в каждом деле – решаю я. Прокуратор Иудеи!

Понтий Пилат, озвучив эту отповедь, легко улыбнулся разозлённому донельзя Ханану. И продолжил:

– Хотя, конечно, урон был нанесен значительный М-да

Прокуратор покачал головой, поморщил брови, вздохнул.

– И столы перевернуты, и золото с серебром в пыли, весьма неприглядная картина. Я так думаю, большинство меняльных столов у Храма принадлежит твоему семейству, священник?

Ханан не счёл нужным ответить, множеству людей это было известно, и не нуждалось в повторении.

А Пилат, явно получая удовольствие от собственной иронии, превращавшей их разговор в пытку для Ханана, нанёс

ещё один удар:

– Я рад, что ваше семейство так богато. В Риме было немало патрициев, желавших быть богаче кесарей, и поплатились умники – своими головами. Ещё одна умная иудейская голова не помешала бы...

Наступившее после этих слов молчание было тяжёлым и долгим. Прервал его первым священник.

– Значит ли это, – начал он сдавленным от негодования голосом, что человек этот, Йэшуа...

Пилат не дал продолжать.

– Да, именно это я и хочу сказать! Человек этот, Иисус, будет заниматься своим делом, до того самого мгновения, как я решу, что довольно. И достаточно повторений, не люблю повторяться.

Тем не менее, Ханан всё же задал вопрос:

– И такое мгновение наступит?

Пилат помолчал. Потом кивнул головой, в знак согласия. Ответ получился весьма нерешительным. Он не произнес ни одного слова. Как будто боялся, что эти величавые стены, их окружающие, через много сотен лет, а может, и тысячелетий, устав от глупости, жадности и жестокости людей, расскажут обо всём, что слышали. И тогда наступит новый потоп. Но только не вода хлынет с небес. А кровь и слезы невинно убиенных и праведников. И не будет спасения, наступит конец света.

Ханан, неплохо знавший прямого в словах и поступках

римлянина, вынужден был отступить. Это было не последнее отступление Ханана. Этому дню предстояло стать одним из самых трудных в его жизни.

– Итак, Иисус пойдёт своей дорогой, а Синедрион и Храм забудут самоё имя этого человека до того мгновения, пока не напомню я, – подвёл черту под предшествующей темой разговора Пилат. – Но не для этого я побеспокоил Храм в лице тестя нашего уважаемого первосвященника.

Лицо Ханана скривилось. Ещё один небольшой укол его самолюбию ничего не значил, хотя и радости не принёс. Да, его сместили с этой должности давно, более десяти лет назад... Ну и что? Разве его зять, Каиафа, руководит Храмом, а значит – душой этой страны? Зять – безвольное орудие в руках его, Ханана. И пока Ханан жив – не бывать первосвященнику не из их рода! Ханан – владыка на деле, без всяких ограничений, а Каиафа – первосвященник без какой бы то ни было власти. Что важнее – символ власти или сама власть? Символы при необходимости сменить можно Имя зятя – Йосэп, а прозвище Каиафа – в сущности, насмешка. Намёк на камень, Ханан считал – на каменную, туповатую голову зятя. Ну и хорошо, ему необязательно быть умным, Ханану своего ума довольно. За что и грозится головы лишить проклятый язычник.

Но о чем собирается говорить римлянин?

– Обычаи римлян отличаются от здешних. Хороши бы мы были, подвергнув заклятию[32] Иерусалим.

Ханан даже побледнел от неожиданности, от внезапного ужаса, подступившего к сердцу. Он знал, что римляне ничего подобного сделать не захотят. Они не истребят огнём стены города, не изобьют животных, не переплавят золото и серебро погибших жителей в слитки для своих храмов... Ничего подобного они обычно не делают. Они со смыслом используют подвластные им территории, выкачивая из стран с их населением всё, необходимое империи. И всё же фраза ужаснула. Вызвала сердцебиение и дрожь в теле. Йрушалайим! Благословен ты, город, в веках и народах!

– Действительно, хороши бы мы были с иудейским заклятием. Но мы – римляне. Мы – строители, и в каждом из нас живет прекрасный дух обновления. Я обнаружил, что и во мне он живет. Иерусалим – красивый город. Он полон жизни, движения. Я намерен подарить этому городу ещё большие преимущества. Я хочу строить акведук.

Ханан попытался состроить заинтересованное лицо.

– Провести воду в город? Но разве нет у нас источников, с прекрасной, чистой водой? Я слышал о том, что в Риме это сооружение есть. Значит, там есть такая необходимость. Но у нас её нет...

– Не у вас, а у нас в Иерусалиме! Такая необходимость есть повсюду! Вода нужна для полива угодий. Для омовений. Я заведу обычай поливать улицы водой. Она осадит эту проклятую пыль, что повсюду в Иерусалиме. Этот вечный скрип на зубах, немытые, в разводах от пота, лица! Акведук я по-

строю, это неизбежно, священник. Но мне понадобится твоё и Синедриона участие.

– Какое?

Ханан был очевидно взволнован. Ясно было, что речь пойдет о деньгах, а что, кроме денег Храма, может спросить у него римлянин. Первосвященник взмок от напряжения. Неужели римлянин посмеет?! А если посмеет, то как далеко пойдет Ханан в своем сопротивлении? Как далеко он сможет пойти, не растеряв по дороге всего, вплоть до собственной жизни?

Однако Пилат не пожелал обострять беседу до предела. Он вверг Ханана в состояние полного изумления, но сменив при этом предмет обсуждения. Это был решительный шаг – пригласить Ханана позавтракать с ним. Непринужденно и просто прокуратор объявил, что не успел сегодня поесть с утра и желает сделать это вместе с первосвященником.

– Я не приемлю твоего отказа, священник, – сказал он Ханану. Не желаю ничего слушать. Твой отказ есть за одним столом с язычником и твой страх осквернить я сочту оскорблением. Я тебе не сидонец и не самаритянин. Я – представитель великого Рима. Но мне не зазорно возлежать за столом с тобой. Будь и ты снисходителен к моему присутствию.

В каком-то отупении чувств Ханан последовал за хозяином к столу. Он удостоверился в том, что Пилат и в еде остаётся воином. Всё было просто и непритязательно. Един-

ственное, что смутило первосвященника до глубины души – это поджаренное мясо, что подали им обоим. Он мог бы не есть, в конце концов даже у этого мучителя не хватило бы совести запихнуть еду Ханану в глотку насильно. Не стал же он вливать в него вино. Пригубил первосвященник из серебряного кубка вместе с хозяином – и отставил его. Пилат и не вздрогнул. Но теперь он поедал свое мясо из глиняного горшочка, и при этом весело посматривал на гостя. Причина веселья была ясна. Это могла быть и свинина. Или не могла быть? Первосвященник знал, что свинину подают за столом у Ирода Антипы.

Почему бы римлянину не подать привычное для себя блюдо иудею, предводителю всех иудеев, у себя дома. Озаботился бы он тем, что для первосвященника это грех? Или только повеселился бы, обрадованный возможностью поиздеваться над противником? Ханан понимал, что это – вызов. Следовало ли принять его? Он ещё раз припомнил всё, что знал о Пилате. Прокуратор был суров, порой до жестокости. Но честен и прямодушен. Во всяком случае, до сегодняшнего дня, снова напомнил себе Ханан. От горшочка исходил приятный пряный запах. Первосвященник призвал на помощь внутренний голос. Он обратился к Господу. И взял кусочек мяса. Это была молодая, прекрасно приготовленная с овощами телятина. Ханан вздохнул и расслабился. И даже пригубил вина вместе с хозяином. Всё оказалось не так страшно, как представлялось. Именно в это мгновение Пилат на-

нёс свой удар.

– Итак, акведук, – сказал он, удовлетворенно рыгнув, и вызвав при этом тошноту у Ханана. – Мне нужны деньги на его постройку. Думается, я их нашёл. Прямо сейчас, за этим приятным времяпрепровождением. Хорошая еда и вино редко наводят на умные мысли, но сегодня не тот случай. Видимо, имеет значение и приятный собеседник. В общении с тобой, священник, у меня появляются удачные мысли. Я думаю, что акведук нужен городу. Твоему городу, и моему тоже, раз уж судьба привязала меня к нему надолго. Значит, ты будешь платить. У Храма есть деньги. Надо, чтобы эти мертвые деньги стали живыми. Пусть поработают на всех нас, это хорошая мысль.

– Нет! – ответил Ханан бар-Шет. – Нет, – ответил он прокуратору Иудеи твердо и решительно, и бесповоротно. Разве он виноват в том, что от волнения свело судорогой горло, и голос предал его? Это "нет" прозвучало негромко и хрипло, и Пилат предпочёл не расслышать его.

– Я думаю, что ты будешь рад оказать подобную услугу городу, в котором ты родился и который почтил тебя столь высоким саном, не правда ли?

– Не будет этого никогда, – вновь обретённый голос был излишне звонок и высок. Но по крайней мере подчинился Ханану.

– Деньги Храма священны, и принадлежат не мне, и не тебе, а Богу.– Деньги, как я это понимаю, очень нужны бы-

вают людям, богам они ни к чему. У них другие заботы.

– И всё же я отвечу: НЕТ!

Повисла весьма напряжённая тишина. Они смотрели друг другу в глаза. Ханан был выведен из себя, Пилат совершенно спокоен. Ханан бледен. Пилат сохранял свойственный его коже оттенок крови с молоком. Он даже улыбался, тогда как лицо Ханана выражало всю меру его отчаяния и ненависти.

– Иногда не следует давать окончательных ответов. Скажи, первосвященник, разве тебя не пугала моя еда? Ты боялся съесть кусочек запрещенной иудеям свинины, и всё же взялся за мясо. Ты не должен был быть за одним столом со мной, язычником, в моём языческом, твоим Богом проклятом доме. Но ты здесь. Такова необходимость, и ты ей подчинился.

– Нет необходимости, что заставит меня отнять деньги у Храма.

– Священник, ты не прав. Ты чуть было не попробовал свинины впервые в жизни. А Иерусалимский Храм её попробовал в полной мере. Не желаешь ли ты повторения прошлого опыта?[33]

Что должен был ответить Ханан? То, о чём вспомнил префект, было вечной болью в сердце каждого из иудеев. Антиох Четвертый Епифан, его бесчинства... Он упразднил службу в Храме, и заклал свинью Зевсу Олимпийскому в его пределах! Неужели первосвященник не ослышался, и прокуратор грозит ему именно этим? Неужели чужеземец

осмелится? Он послан Римом в качестве управителя, но так ли велики его полномочия... Господи, что можно сделать? Устроить прокуратору неприятности, конечно. Жаловаться легату Сирии, а пока выходить с криками и просьбами к претории, к месту строительства... Мешать работе, запугать работников. Но деньги! Надо ли отдавать деньги?!

Он не может отдать деньги Храма, он не должен. Господи, вразуми меня, подскажи, как мне отвечать проклятому язычнику! Я не могу этого сделать, не могу! Я не отдам ему ни монетки... Лихорадочный поток мыслей прервался.

– Итак, – спросил его решительно "проклятый язычник". – Надо ли послать воинов кентурии в Храм, вооружив их тушей свиньи? Я вижу по твоему лицу, что ты многое придумал для моего устрашения. Но прежде чем вестники будут у легата, и прежде чем кесарь пришлёт мне приказ возвращаться... Если это вообще произойдёт, конечно, в чём я сомневаюсь... Я успею, священник, я ближе, чем те, о которых ты думаешь сейчас! Ты будешь повинен в том, что осквернят твой Храм.

Ханан потрясенно молчал. В сердце его царил мрак. Мыслей уже не было. Зато они имелись у Пилата.

– Есть ещё решение, и оно лежит на поверхности. Зачем мне корбон[34], коли твоя семья, священник, так богата?

Ханан бар Шет ушёл, шатаясь, не дав ответа Пилату, не прощаясь с ним, не произнося ненужных слов.

Посланный назавтра в Храм отряд вернулся с деньгами

для постройки акведука. Прокуратор Иудеи победил. Он был доволен собой. И первосвященником Хананом – тоже. Последующие события показали, что Ханан остался очень недоволен.

Глава 6. Письма I.

*К – Гаю Понтию Пилату, привет.

Я сержусь; мне не ясно, должен ли, но я сержусь. Пребывание твоё в Иудее не бесполезно, но и ошибки твои мне ведомы. Последняя затея с акведуком неплоха. Нет нужды объяснять мне, как нужен восточному городу с его пылью и грязью акведук. Вода требуется для питья, для омовений, для поливки садов и пр. Зная склад твоего ума, не сомневался в том, что деньги ты изыщешь, не отягощая карман Тиберия ненужными тратами. Я не ошибся в тебе – 200 стадий[35] от города! У тебя талант градостроителя, и я всерьёз подумываю о том, чтобы развивать его в тебе. Поздравляю тебя, ты неплохо поработал, и деньги нашел, где следовало – в священном хранилище иудеев. Но к чему весь последующий шум?

Следовало объяснить неблагодарным негодяям, с которыми тебе приходится иметь ныне дело, что это их страна, их город, и соответственно – их вода, которую не унесет с собой Рим. Особо непонятливых можно было запомнить, и поучить их благодарности и стремлению к чистоте, не устраивая из этого публичного зрелища. А что сделал ты? Крики усмиряемой тобой палочными ударами толпы достигли ушей Цезаря. Ты же не в первый раз раздражаешь божественные уши.

Припоминаешь? В первый раз это были твои солдаты со щитами в Иерусалиме. Половина Иудеи поклялась умереть, но не допустить изображений императора в свой Священный город. Цезарь был бы рад исполнению их клятвы, кому же из венценосных особ приятно слышать, что их выставляют откуда бы то ни было. Правда, очередные волнения были бы весьма некстати. Но ты, словно желая вывести меня из терпения окончательно, повесил на стенах дворца Ирода те же золотые щиты с изображением императора. И снова жалобы к Тиберию. Он должен быть тебе страшно благодарен, думаю, при упоминании твоего имени он скрипит зубами.

И теперь ты вновь подставляешься под гнев императора. Сеяну стоило немалого труда уговорить Цезаря оставить тебя в Иудее. Он использовал всё своё влияние, весь свой пыл. Понимаешь ли ты, что это значит?

Думаю, влияния Сеяна и моих связей хватит, чтоб удержать тебя и в следующий раз, и раз за разом, до десяти раз. Не стану этого скрывать от тебя, наши позиции сейчас значительно укрепились. Но захочу ли я это сделать – вот в чём вопрос. Друг мой Пилат, ты, хоть и воин, но давно не юнец, пора научиться быть осторожным. Открытая атака на врага, согласен, упоительно-прекрасна. Несёшься вперед, сносишь всё на своем пути, вперед, к победе! Но разве ты не знаешь, что в твоей должности необходимы скорей отступления, маневры, лавирование?! Ты ставишь под угрозу выполнение моих планов, а я, как ты знаешь, не прощаю подобных

ошибок, во всяком случае, не трижды! Сделай милость, не делай больше глупостей, иначе я забуду о нашем прошлом.

Впрочем, ты её уже сделал, очередную глупость, догадываешься ли, какую? Забрав деньги иудеев, ты выслал золото в Рим. Затея с акведуком позволила сделать это, послужив удачным прикрытием. Хотя, по договору, сначала серебро из Рима должно было бы приплыть к берегам Палестины. Сеян гордится твоим успешным покушением на сокровища иудеев. Он удивительно похож на моего старшего брата. Он прощает тебе всё, как когда-то прощал Германик. Мой брат и любил тебя за твою безрассудную храбрость. Я бы даже сказал, наглость. Я же предпочитаю точное исполнение задуманного, требующее немалого напряжения сил. Твои дерзкие наскоки нравятся мне всё меньше.

По второму, для меня не менее важному вопросу**,** всё не так плохо, как кажется. Здесь следует думать головой, а я помню с детства, что это у тебя не всегда хорошо получалось. Но я тебя выручу, впрочем, как всегда.Я думаю, что нашёл выход. Скоро в Иерусалиме появится египтянин, Ормус, один из учеников друга Сеяна. Как ты увидишь, он жрец, я выписал его из Александрии. Уверяю тебя, что этот человек – именно тот, кто нам нужен. Ему нет равных в знании религий и культов, он обладает рядом необыкновенных способностей. Его посвятили в некоторые подробности наших планов, Сеян занимался этим. Ормус едет к тебе с определёнными предложениями, но у него нет тех полномочий и воз-

можностей, какие даны тебе. Вы нужны друг другу, он сумеет удержать тебя от необдуманных поступков, а ты найдешь применение его знаниям и способностям. Не стану объясняться подробнее, ты понимаешь. Надлежит быть кратким там, конечно, где можно; краткость в подобном письме извинительна. Будь здоров.

Сеян – Понтию Пилату, прокуратору Рима в Иудее, привет.

Твоя любовь к обмываниям способна вызвать умиление и восторг у всех, кроме меня. Не подражаешь ли ты твоему праведнику, Иоанну? Мне не нужен акведук в Иерусалиме, на тебя же одного иудеи запаслись бы достаточным количеством воды, вряд ли хватило бы смелости отказать Риму в подобных пустяках. Подвести к городу воду с расстояния в 200 стадий – это ли не подвиг Геркулеса?

Ты, может быть, ждал ещё и благодарности? Насмешил же ты меня. Но для тебя урок, а ты, сколько я помню, понятлив. Желают быть неумытыми – пусть не моются. Впрочем, пустяки, не сказал бы, что пришлось держать волка за уши[36], всё было просто и легко. Я просил, и мне не отказали. Цезарь милостив ко мне сверх всякой меры. Ты прощён. Но впредь воздержись от благодеяний. Даже за их собственный счёт, а уж тем более за наш. Вот тут моё заступничество может не помочь.

Хочу предупредить – не очень нравится мне эта египетская мумия Ормус. Скажу откровенно – ты излишне прямо-

душен, когда надоест прятаться и выжидать, ты можешь и сорваться. Жрец же обладает способностью ждать в засаде месяцами и подкрадываться незаметно. Но в своём деле он великолепен, мне приходилось это видеть. Не знаю, правда, что ему делить с тобой, не прокураторство же, в самом деле. А всё же чувствую опасность, и хочу поделиться с тобой. Не так уж много на этом свете людей, которых я уважаю.

Будь здоров.

*К Понтию Пилату, привет.

Итак, коли мне необходимо дать прямой ответ, выбрав из двух оставшихся одного, я не колеблясь, отвечаю – Иисус. Твой Окунатель, быть может, неплох, не отрицаю. Но он врос корнями в иудейскую религию настолько, что не способен оторваться от неё. Он представляется мне каким-то монолитом, попробуй, сдвинь его с места. Фанатизм удобен, когда им можно пользоваться. Может, кто-то и может пользоваться Иоанном, но только не мы. Я ощущаю его чуждым до степени полного неприятия, мне скучно думать о нём – это другой мир, одноцветный, скорее всего серый, холодный. Благодари себя за свой дар рисовать людей словами. Жаль, что ты не умеешь объяснить то, что видишь. Что же, придётся делать это за тебя. Будь подробней в своих письмах, я хочу видеть всех участников нашего театра твоими глазами. Черты внешности, походка, бросающиеся в глаза повадки. Это очень важно, префект. Ты увидишь, что я могу помочь. Отсюда, издалека, я могу сделать не меньше, чем жрец, мне бы

только увидеть этих людей. Пусть твоими глазами, это очень хорошие глаза, глаза воина, привыкшие различать мелочи.

Я увидел Иоанна с твоей помощью, и я отвергаю его в роли Основателя.

Иисус... Жаль, что я не могу взглянуть на него своими глазами. Как бы я ни доверял твоим, но люди интересные и достойные внимания встречаются не столь часто, чтобы пренебрегать общением с ними. Интересно, что скажет жрец, но, на мой взгляд, египетское прошлое Иисуса он должен одобрить. Увы, не только иудеи грешат подобным, в наше время быть Богом – значит творить чудеса, исцеления и прочее недоступное иным. Только так можно подтвердить близость к Божественному. Нет чудес – нет бога, ибо если нет чудес и всё объяснимо естественными причинами и законами мира этого, как почувствовать человеку присутствие сил мира иного? Их не будет тогда. Торжествующий мир земной и его законы вытеснят навсегда самую память о боге из человеческого сознания Но ум и таланты бессильны перед верой в чудеса. Что же, не стоит быть неблагодарными, используем дар нашего Основателя. Кстати, Иоанн ведь напрочь лишён подобного дара?

Хочу сказать, что этот дар – не последний у твоего Иисуса. В отличие от Иоанна, он разнообразен сам, и не требует единообразия ото всех вокруг. Он человечен, и это, безусловно, его преимущество. К нему тянутся люди, в первую очередь – простые люди. А ведь именно они – предмет нашего инте-

реса, ибо их несравнимо больше, нежели людей богатых или одарённых.

Ты никогда не был знатоком истории, это, с моей точки зрения, существенный недостаток для политика, и я тебе неустанно твердил об этом. Но о Сократе[37] ты, конечно, слышал. Завсегдатай собраний, улиц, рынков, как и наш Иисус, не так ли? Совесть своих сограждан, призывавший их навести порядок в своём внутреннем мире. Равнодушный к вещам и деньгам, он упрекал соотечественников в излишней озабоченности делами войны, политики, предпринимательства. И при этом очень серьезно говорил о некоем Боге внутри себя, который и определяет его поступки. Собственно, за что и был казнен, за "поклонение новым Богам", и безропотно принял смерть. Как тебе такой ход событий? Чем не Основатель, которого мы ищем? Подходит ли подобная роль Иисусу? Я совершенно уверен, что и Сократ стал бы провозвестником новой религии, если бы не был столь образован, и к тому же, если бы не имел столь умных учеников. Платон[38] – великий философ, Ксенофонт[39] – не менее великий историк. Право же, это слишком. Никакой мистики, никаких чудес, никаких легенд... Одна голая правда. Они преподнесли нам своего учителя без ореола таинственности. А какая религия без чудес? Впрочем, я повторяюсь.

Иисус не слишком образован в нашем италийском понимании. Записывать свои откровения он не станет, впрочем, не делал этого и Сократ, зато постарались ученики. А уче-

ники нашего Иисуса – это нечто совсем иное. Он ведь выбирает из среды отверженных, убогих. Поэт и мечтатель, а именно таким он выглядит в твоём описании, недаром у тебя проскальзывает нотка презрительного превосходства, когда ты пишешь о нём, Иисус говорит с ними на понятном языке. Эта среда ведь тоже не лишена поэзии, сказки – сугубо народный жанр. Они окружат его ореолом чудес, они заплачут над его жертвенной смертью. Они вознесут его Богом, если я что-нибудь понимаю в этих вопросах, а я понимаю. Я ведь и историк, я же и жрец.

Кстати, подумайте с Ормусом, должно ли быть число его сопровождающих каким-либо знаковым, магическим. Допустим, двенадцать, по числу колен израилевых? Не следует раньше времени раздражать местные религиозные власти, чтобы не мешали. В этом смысле даже двенадцать – слишком большое число, с учетом и того, что за ними нужно приглядывать. А это лишние хлопоты тебе.

Итак, я остановился на Иисусе. Нет сомнений, что наш египетский друг поступит так же. Может, ты пожалеешь об Иоанне, но придётся уступить.

Будь здоров, друг. Прислушивайся к мнению египетского гостя, и полагаю, всё будет сделано правильно.

Глава 7. Иродиада.

Лёгкое осуществление своей женской власти – вот чем было для неё совокупление с мужчиной. Не существовало для неё понятия греха, прелюбодеяния. Она была рождена для этого – для длинных бессонных ночей со стонами и вздохами, для нескромных движений обольстительного тела, для завистливых взглядов женщин и горячих взглядов мужчин.

В конце концов, она на многое имела право. Ну кем он был, этот грязный полупомешанный пустынник, объявивший её развратной на всю страну? А она была внучкой Ирода Великого[40], царя, чьи владения простирались на всю Палестину, а также часть Ливана, Сирии. В Кесарии она была у себя дома, даже если бы не была при этом женой Ирода Антипы, тетрарха Галилеи. Помимо всего прочего, и это главное – она была красивой женщиной.

Во время нескольких встреч, проведённых в Галилее с тетрархом, Понтию приходилось встречаться с Иродиадой. Гордая, непреклонная, чарующая, загадочная, способная свести с ума – чего только не слышал он о ней. Его собственное впечатление было иным. Бесстыдная, дерзкая, жестокая, циничная, – вот какой она была. Но, безусловно, очень желанная женщина.

Он почувствовал знакомое волнение с первых минут общения. Встреча с незнакомой красивой женщиной всегда по-

рождала у него жажду близости, обещала неведомые оттенки страсти, целый мир ярких и соблазнительно новых ощущений. С первых минут ни к чему не обязывающего, общего для всех разговора он знал, что будет иметь её рано или поздно. Она сказала ему это взглядом. Больше того, она сама повела себя как мужчина. Её нескромный взгляд – не украдкой, не тайком, – заскользил по его телу, она буквально раздела его глазами, оценила формы под тогой, осталась довольна полученным результатом, и именно это выразило её лицо. Понтий отнюдь не был скромником, и всё же он был смущен. Впервые женщина оценивала его столь откровенно с этой точки зрения, казалось, ей удалось даже померить размеры его мужского достоинства под одеждой. До сих пор он не был уверен, не она ли сказала ему глазами – я буду иметь тебя, мужчина, рано или поздно, я так хочу.

Поначалу он сомневался, может ли это себе позволить. В конце концов, миссия его в этой стране (как явная, лежащая на поверхности, так и тайная, скрытая ото всех), состояла не в том, чтобы овладеть женщиной тетрарха, каким бы заманчивым это ни представлялось. Понтий не боялся обидеть Ирода Антипу. После смерти Ирода Великого что Иудея, что Галилея были третьеразрядными римскими провинциями, и вряд ли Антипа, напрямую зависящий от римского благоволения, поднял бы голос по поводу недостойного поведения Пилата. Это он-то, отвергший жену, дочь набатейского царя, ради жены своего брата, Ирода Филлипа, он, упрекаемый

беспрестанно за это Иоанном и народом?! Конечно, нет. Антипа, сходивший с ума по жене, бывший под её каблуком, и прекрасно изучивший её повадки, не представлял опасности для Пилата. Тут было другое. Некоторое сочувствие к Ироду Антипе, попавшему в руки к этой хищнице, разновидность мужской солидарности. Он не пытался разбираться в этом, но была здесь и доля задетой мужской гордости прокуратора, не привыкшего к тому, чтобы женщина выбирала его, как выбирают рабов на рынке, не спрашивая его мнения и не беря в расчёт его собственные желания. Он ощущал себя так, словно эта женщина, прощупав его мышцы, заглянув ему в рот и пересчитав крепкие зубы, объявила вслух: "Он мне подходит, я его беру, за деньгами пришлите вечером. Я предупрежу управляющего".

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.